



ЖЕРНОВА

Дмитрий ГОРОХ,
г. Петрозаводск

Старенький пазик натужно выл, но Бабкину гору одолеть не мог. Водитель чертыхался, медленно сдавая назад, что на крутом извилистом склоне было совсем непросто. Длинного участка для разгона не было, передачи переключались с каким-то невероятным усилием и пугающим треском. Пытаясь помочь рычащему движку, водитель с лицом идущего на таран танкиста подавался вперёд, к баранке. «Давай, давай, давай», — тужился он вместе с бездушной машиной. Ничто не помогало. Тогда сначала высаживались мужчины. Минуту спустя багровый водитель не выдерживал: «Пропади ты всё пропадом!» Чудесным образом в салоне автобуса становилось пусто. Имеющийся резерв лошадиных сил вываливался на дорогу и облеплял корму автобуса. «Пошёл, пошёл, пошёл», — дирижировал маленьким оркестриком выдохнувший водитель.

В Опполе мы выходили. Мама показывала школу-восьмилетку, где она училась. Старенький финский домик, ничего особенного. Мама бегала в школу за восемь километров, с хутора, через лес. Боялась волков и рыси. Мы шли по грунтовке вдоль узких полей, где высаживались капуста, горох, свекла, турнепс в разных сочетаниях. Каждый год продуктовый набор менялся. У меня болела нога, и я довольно скоро забирался к отцу на плечи. Так, не спеша, с полной отцовской рубашой гороховых стручков мы подходили к деревне.

В деревне Метсямикли, а в довоенные времена это был тоже финский лесной хуторок, на реке тогдашние обитатели поставили мельницу. На верхнем уступе водопада соорудили затво-

ры. Так что часть воды или вся вода могла отводиться в полутораметровую бетонную трубу. Устроили её по каменному берегу Ниванйоки, вдоль всех порогов, за корыто и еще дальше. Вела труба как раз к мельнице. Там же расчетливые финны установили турбину и генератор, так что производство и хутор были обеспечены электричеством. Конечно, в поздние советские времена моего детства от всех этих конструкций кое-где остались лишь слухи, где-то сохранились фундаменты, и только на крутой дуге шумила, на разновысоких бетонных опорах, ещё возлежала та самая труба.

Спустившись по тропинке вдоль пасеки к реке, к отвесному склону каньона, можно было спрыгнуть на гребень трубы и пройти по ней до сгнивших затворов и обратно. Здесь же труба и обрывалась. Ниже по берегу, ступив довольно далеко, хранили строй и дистанцию одни молодцеватые бетонные столпы. Ни время, ни эрозии не смогли сломить дух этих нордических истуканов с вогнутыми плечами, чьи дуги лап, лишённые былой тяжести, остались воздеты к небу. Они поросли чёрным лишайником с цветными отметинами мхов, слились с камнем, на котором стояли, и стали частью пейзажа, самой природой.

Стоять на широкой, но склизкой трубе опасно и тревожно: внизу грохочет и пенится вода, то скрывая, то обнажая костяшки валунов. Но это лучшее место, царская ложа, здесь смотришь водопаду глаза в глаза, стоя вровень с его старческим, морщинистым лицом мифического божества или героя, слушаешь его глухую раскатистую, медленно бурлящую речь, обращенную только к тебе. «Как река, текут те звуки, как поток, туда стремятся». С малых лет, погружаясь в его туманные, расцвеченные солнечными радужками сны, касаясь его льющихся прозрачных волос, я чувствовал озноб от прикосновения к первородной стихии.

* * *

Однажды летом, а с тех пор уже много воды утекло, мы с моим хорошим другом Олегом Мошниковым выбрали солнечные выходные для по-

ездки по Северному Приладожью. Я повез Олега и его сынишку Ростика — рассудительного мальчугана-дошкольника по родным для меня и памятным местам, где я родился и вырос. Прогулку по городку Сортавала (местные давно для себя решили, что название города — не склоняется) мы начали с подъема в гору Кухавуори в парке Ваккосалми. Сто восемьдесят две бетонные ступеньки, построенные финскими работягами, за свой почти век отлично сохранились. Да и в памяти моей они отпечатались весьма крепко: тренер по конькобежному спорту частенько гонял нас по этим ступеням вверх-вниз то бегом, то прыжками — на одной ноге, на другой ноге. Снизу вверх, сверху вниз — до полного изнеможения.

— Герои Майю Лассила, учившегося, между прочим, в Сортавала, в одной из повестей пришли к выводу, что парки Хельсинки ни в какое сравнение не идут с Ваккосалми, — заметил я.

— Индейцы майя? — встрепенулся Ростик, заскучавший было при подсчете ступенек.

Олег улыбнулся и как признанный нами знаток финской литературы и советского кинематографа, шумно выдохнув на последнем подъёме, пояснил сыну:

— Майю Лассила — это имя, причём женское, один из псевдонимов известного финского писателя, героя-революционера. В России он известен под этим псевдонимом, и то потому, что Леонид Гайдай снял фильм-комедию по его повести. Помнишь, мы смотрели фильм «За спичками»? Вот! — затем Олег обернулся, театрально разведя руками, ко мне. — А какой актёрский состав?! «Как хорошо подняться в облака, подняться в облака». А! А!

Мы шли по улицам города и рассуждали о финской архитектуре начала прошлого века — довольно суровой и рациональной, но яркой и выразительной именно в своей холодной простоте. Мы решили что, несмотря на всю эклектичность стилистики и гибкость выразительных средств, архитекторы и строители ставили перед собой одну-единственную задачу: воздвигнуть памятник финскому национальному характеру, практическому и поэтичному одновременно. Утвердить творением рук нечто не-

рукотворное: не только любовь и веру, но и трепет, и пыл.

Затем был остров Валаам. Он поражал своими бескрайними пейзажами: поросших хвойником скалистых островов, извилистых проливов, шхер, лагун, ярко-синего простора открытой Ладоги, переходящего в лазурный небосвод с ослепительными мазками перистых облаков...

Посетив на обратном пути музей Кронида Гоголева, где в толстом фолианте книги отзывов в энном архивном томе хранятся и наши восторженные записи, заночевав в Сортавала, утром мы двинули в сторону Лахденпохьи.

Олег много фотографировал, так что мы часто останавливались то тут, то там.

— Постой, я хочу запечатлеть эту красоту, сосуд моей памяти уже переполнен, и я боюсь расплескать свои лучшие впечатления, — подрылся он на очередном повороте или пригорке.

Фотографии здешних мест обладают странным эффектом, в любом ракурсе — это помертвевшая маска, фиксирующая абрис пустого пространства, темницы, из которой вылетела душа. Только живая рука художника способна уловить невидимые глазу черты и подарить зрителю ощущение тайны.

Кронид Гоголев, на липовом щите кропотливо вырезая рельефные картины северной природы или крестьянского быта, умел остановить мгновение так, что фигуры оживали. Слышалась песня подгулявших мужиков и баб, скрипели полозья саней на морозном снегу, шумел ветер в кронах деревьев. В живописи Николая Рериха, в его картинах Приладожья и Валаама, сквозь первый только и заметный обычному взгляду слой светились не душа даже, а дух, сущее этих избранных мест. Внутреннее свечение и придаёт им то неуловимое, загадочное очарование, именное красотой.

— Твои стихи, — толковал я Олегу, — убедительнее любой фотографии. Ты не просто лишь мгновение, ты лишь очарование: онежскими валунами и кижской банькой, картиной осени и петровской церковью-кораблём в Марциальных Водах. Так оглянись и на это мгновение чуда: переливчатую чешую залива, стрекошущее разнотравье луга под ногами, окаменевшую лаву

хребта, хранящего на своем черепе когтистую хватку слабеющего ледника.

— Расскажи лучше, Дима, как ты не карел, не вепс и не финн даже — пустил корни на этой каменной земле, — сменил тему Олег.

Я задумался. Дорога тянулась медленно, Ростик мирно посапывал на заднем сиденье и не отвлекал нас бесконечными вопросами. Хотел уже было начать...

— Ведь я и сам многого не знаю. Несловохотливы были дед с бабушкой, да умерли, я еще молод был. Не успел я главных вопросов задать. Есть несколько семейных историй... Впрочем, вот что. Живёт в деревне один старик, древний дедушка, мне говорили про него, мол, рассказчик он хоть куда, и память отменная. Старик этот моего прадеда с прабабкой хорошо знал, вместе они с Вологодской области сюда добирались. Вот и спросим, раз уж случай такой выдался.

* * *

Посмотрели мы водопад и реку, зашли коротко в старый дедовский дом: сруб уже совсем просел, до окошек. Да и внутри новые хозяева всё перестроили, русскую печь снесли. А всё одно показалась мне, взглядом взрослого человека, квартирка такой малюсенькой... Видимо, закон перспективы и на памятные предметы распространяется. Удивительно, как же вся большая семья здесь размещалась... И пошли, наконец, к старику на поклон.

Жил он в финском доме, большом, но уже изрядно обветшалом. Старик сидел на крылечке в расстёгнутой рваной фуфайке, в таких же ватных штанах, с потухшей папиросой во рту. Грелся в лучах предвечернего солнца.

Колоритный, надо сказать, персонаж. Шикарную содержал бороду и был похож одновременно и на Кронида Гоголева, и на Петри Шемейку, чей памятник стоит в центре Сортавала, и многие думают, что это памятник Вяйнямёйнену.

Походил он и на самого Вяйнямёйнена с иллюстраций Кочергина, и даже на Карла Маркса. «Кто таков?» — буркнул старик впереди идущей

му. Узнав, чьих буду, повеселел. Сели и мы на ступеньки, познакомились. Наши желания совершенно совпали: старику хотелось поговорить, а мы готовы были послушать. Так что уговаривать его не пришлось. Щелкнув узловатым пальцем изжёванный окурочок в гигантские лопухи, старик принялся за рассказ.

— Дядька Василий, прадед твой, значит, с моим батькой из одной деревни. Хорошо жили, всего хватало. Мы-то из бедноты, в колхозе работали. Война, когда началась, старшие мои два брата на фронт ушли да в тот же год и погибли один за другим. А с дедом твоим, Женькой, корешились мы, коров вместе пасли, на сенокосе работали. А когда наши немца двинули и побежал он, немец, по своим Европам, тогда и мы с Женькой на войну заторопились. Хоть за хвост успеть прищемить фрица. Ан нет, по семнадцати годов не пускают нас, — старик снял кепку и ловко прибил ею комара на голой черной ступне. — Обидно! Кровь молодая, горячая, клокочет в нас, значит, ярость благородная! Сговорились мы на фронт бежать. Собрались по-тихому и в условленный час к железке сганули. Там на товарняк проходящий влезли, и три дня мы так по Рассее путешествовали, пока не скрутили нас, как шпану какую, и обратно домой-то и не отправили. А тут новая напасть! Местность наша, несколько сёл и деревень в зоне подтопления оказались, пашни, покосы. Искусственное море, во как! Рыбинское водохранилище, етить твою налево... Колхоз, говорят, подлежит перемещению на новые земли, государственная задача! Дядька Василий с войны вернулся, грудь колесом, батька на одной ноге припрыгал. Некогда, председатель говорит, отдыхать. Так и поехали. Женьку-то, как война закончилась, перед тем — в армию призвали. Поднял его ветер на русской земле, помотал и нежно так спустил за тыщу верст на финские скалы. А я годом позже служить ушёл, так что переезд этот в Приладожье костями и шкурой помню.

Говорил старик тяжело, шамкал беззубо, да и припомнил немного чего. Но в целом его рассказ добавил красок в не однажды слышанное мной семейное предание.

Пришли они сюда осенью 1945 года из Вологодчины. Вся дорога вдоль Ладоги была запружена подводами. Шли семьями, на телегах дети и нехитрый домашний скarb. Равнина закончилась, по вздыбленной холмами земле юркой змейкой петляла узкая пылящая грунтовка, огибая высокие каменные вершины. Под гору воз придерживали, поднимаясь к вершине, когда усталая голодная лошада сама готова была рухнуть и покатиться обратно вниз, телегу толкали. Перед русскими такой же унылой скрипучей обозной цепью ушли финны, второй раз после Зимней войны покинувшие свои дома, сады, посеы, кладбища.

Прадеду Василию Васильевичу приглянулось подворье, бывший финский хуторок, обжитый в таежном урочище, называемом почему-то Букли. Дом стоял на пологом зелёном холме с каменной вершиной. За домом холм обрывался отвесной скалой. Внизу, заполнив скальную расщелину, зеркальной гладью отражало мир глухое озеро Питкяярви, узкое и глубокое.

Другие переселенцы заняли жилища известного из истории посёлка Микли. Дома его упирались в берег долгого и запутанного, изломанного шхерами залива Ладоги. Расположился посёлок в устье мелкой речушки Мийналанйоки, окруженный лесными ламбами, одно из них озерко Киркколампи, или Церковное по-нашему. Издавна жили в этих местах карелы, крещены они были, в отличие от соседних финнов, в православную веру, позже стали полноправными гражданами Новгородского государства. Построили крепость, воздвигли на холме церковь святого Николая — отсюда и название Микли от карельского «Мииккула», Николай тот же.

Неугомонные шведы, не одну сотню лет промышлявшие в Приладожье войной и разбоем, никак не давали покоя. Однажды во время ожесточенной битвы, поняв, что силы защитников крепости на исходе, отчаявшиеся селяне утопили в озере церковные колокола и бежали в лес. Церковь и крепость шведы разрушили, дома пожгли. Осталось у озерка имя — Церковное. А когда земли Приладожья на некоторое время

и вовсе отошли Швеции, притесняемые православные карелы ушли совсем, бежали, спасаясь, а их имения и угодья достались финским переселенцам, подданным в то время шведской короны.

Вряд ли крестьянам, попавшим в незнакомое, чуждое даже место, были интересны тонкие перипетии истории, правда, на митинге перед отправкой колонны тщедушный агитатор что-то выкрикивал про историческую миссию и чувство долга, да плохо им было слышно.

Тяжёл на подъём русский человек, запомненная подростком родительская пословица «где родился, там и пригодился» словно калёным железом к сердцу его припечатана. Многие устало шагавшие здесь, думаю, не к добру чужому тянулись и не лучшей доли искали. Не репрессий они боялись, не наказания — не под дулами автоматов шли, не под собачий истошный лай и рык. Был у них выбор, куда переезжать, полагались переселенцам и немалые подъёмные, льготы. Вела их, срывала с насиженных мест им самим непонятная организующая сила сопричастности к великому, переломному в судьбе народа, историческому событию: страшной войне и победе в этой войне, необходимости забыть всё частное, индивидуальное в себе и отдать все силы, всё время, всю волю на общее благо. Им выпало заселить обезлюдевшие пограничные пространства, выстроить заново быт, собрать по кусочкам ломаную-переломаную, израненную послевоенную жизнь.

Давила лишь явственная атмосфера бессильного чужого горя, нависшая над оставленными землями, и понимание собственного постыдного положения пешки, властно двинутой на чужое поле.

Но увидел Василий отличные ухоженные дороки, аккуратные поля, трудом и любовью облагороженные пространства, а главное: под навесом душистое сено, в амбаре рожь и овёс, в сарае плуг и молотилки, и борона, и плотничный инструмент. Да много ещё всего. Загорелось хозяйское сердце, а расчётливый мужицкий разум уже подсказывал, что припрятать спешно, пока не пошли с описью колхозные счетоводы.

Ахнула и хозяйка, вошедши в свой новый дом: мебель, утварь, посуда — огромное богатство — всё осталось нетронутым, чистое, ухоженное располагалось по своим местам. В печи зола ещё тёплая, как так? В саду крыжовник, смородина, не снятый урожай яблок. Гнутся к земле тяжёлые ветви, падают спелые яблоки, прячутся в траве. Подняла одно бледно-зелёное некрупное яблоко, о подол протёрла, надкусила — кисло-сладкое. И — слёзы из глаз...

* * *

Недели не прошло, как прадед странности всякие примечать стал. Зашёл он по хозяйской надобности в сарай, глянь, нет топора! Нет, топоры, конечно, вот они: висят по ранжиру, с колуна начиная. А этого, среднего размера, острогострого с клеймом неизвестного мастера на обухе, с топорщиком ладным незнакомой породы дерева, словно и не бывало. Огляделся по сторонам: и вилы кованые, не будет которым поломки или износа, запримеченные, исчезли тоже. Бабе топор без надобности, дети без спроса не возьмут, так заведено было — и спрашивать незачем. Неужели с соседнего хутора Семён шастает? Вот люди! Жили в хибарке с земляным полом — ни кола ни двора — батраки извечные, а переехали, старик гоголем ходит, сыновьям, хвастает, наследство справил.

Решил Василий проследить. С первыми сумерками притаился, ждёт. Стихло всё, хутор спит, ветер чуть слышно верхушки леса поглаживает, мокрень закончилась. В проясневшем небе яркая полная луна бьет прожектором, оставляет на воде невесомый серебристый след и на противоположном берегу упирается в отвесную, изломанную тысячами блестящих граней чёрную скалу. По ночам уже заморозки прихватывают, зябко. И тут из пустующего хлева тень мелькнула, скрипнул засов амбара. Что за чёрт! Никак рыскает кто-то, ночью еду прихватывает, днём в хлеву прячется. Время смутное, послевоенное, граница рядом, да и сами здесь без году неделя. Сна ни в одном глазу. Еле ночь перетерпел и на рассвете к уполномоченному отправился. К обеду вернулся с военным конвоем. В яслях зарыто-

го в сене, крепко спящего, нашли «диверсанта». Финский паренёк не ушёл со всеми, остался дом свой защищать — и будто в капкан угодил: на мирных жителей рука не поднялась, и к своим возвращаться — отрезаны пути.

Топорик из-под руки выдернули, ткнули мальчишку в бок — подорвался он, зверьком глядит, с испугом и тоской. Весь пыл его, всё желание мести уже давно испарились, а человечек остался, и сам уже не понимает, как и зачем. Забрал его конвой, пинком да прикладом направил, и ушёл мальчишка, чтобы по всей строгости сурового времени ответить за свою минутную злобу и за тех взрослых и циничных людей, которые эту злобу в нём разожгли когда-то.

* * *

Между тем продолжался наш с Олегом уже обратный путь. Закатное солнце мягко золотило верхушки сосен, слабую рябь залива. Воздух был тих и прозрачен. Нега и умиротворённость были вокруг. Люди в машине пили и пили этот лекарственный покой и никак не могли исцелиться.

— Что же стало с тем мальчиком финном? — беспокожно ёрзал на заднем сиденье Ростик.

Олег — наполовину вепс. Чем очень гордится. Что ж, место для гордости есть у каждого, даже самого маленького народа. А весь, летописная весь известна более тысячи лет. Вот тёзка Олега, князь Олег, родич Рюрика, процитирую «Повесть временных лет», вышел в поход, «взяв с собою много воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей...». Словене — суть новгородцы великие — в одном ряду с летописной весью. В вепсских песнях-сказках и причитаниях, да и в эпических сказаниях народа корела живы слова и напевы угаснувшего древнего племени весь.

Не было ещё страны такой — Финляндии, и народности такой — финнов, когда граница между Новгородской республикой и Шведским королевством по Ореховскому мирному договору после десятилетий войн и разорений впервые разделила корелу. Проходила та граница от нынешнего Сестрорецка вплоть до берега Каяна моря, Ботнического залива по-современному. Половина теперешней Финляндии восемьсот

лет назад была в составе Новгородской республики! За столетия войн границы эти менялись не раз. Финские племена сумь и емь, слившись с западной корелой, стали нынешними финнами. Рекрутированные на войну финны, также, как и их предки, составляли костяк шведского войска и самую его идеологически подкованную часть. Русичи, воевавшие зачастую на несколько фронтов, не всегда могли помочь карелам в отражении почти непрерывных атак.

— А восточные карелы, между прочим, яростно не хотели воссоединиться с западными карелами и финнами, — кипятился Олег. — Это очень о многом говорит... По сей день карелы и вепсы в финском обиходе — второй сорт. Я уже молчу про рюсся.

Это было обидно:

— Позволю себе обвинить финнов в неблагодарности. Вот они мечтают вернуть утраченные земли... Более того, они до сих пор бредят идеями Великой Финляндии — от Балтийского моря до Уральских гор. Подогреваются эти идеи якобы несправедливой и даже унижительной для них потерей юго-восточных земель. Как они полагают, их исторических земель! Впрочем, какие ни приводи аргументы, они действительно так думают и веры своей никогда не переменят. Что поделаешь, финны — молодая нация, пассионарности в них, по Гумилёву, хоть отбавляй. У нас же свои представления об этом предмете и своя вера на сей счёт. И истина здесь ни посередине, ни сбоку — истина здесь у каждого своя.

— Какая же истина твоя? И в чём же заключается неблагодарность финнов? — почувствовав настроение, заинтересованно перебил Олег.

В крутых поворотах нас мотало то влево, то вправо, и фраза его прозвучала отрывисто и с нажимом. Не так-то просто понимание сердцем облечь в понимание умом. Нужны были какие-то аргументы. А на лабиринты истории никакого клубка не хватит. В маленьких-маленьких, коротеньких-коротеньких мыслях людей с трудом помещаются эпические перипетии веков и событий.

— Ко времени победы в Северной войне многое уже переменялось: на востоке Швеции коренные финские племена и отрезанная преж-

ними войнами часть карел переплавились в новую идентичность. Вдруг стали слышны голоса, заявившие о правах молодой нации на место под солнцем. Странам Европы любое усиление России кажется чрезмерным, те призывали к сдержанности. Российские войска были расквартированы по всей Финляндии, упавшей к ногам победителя заслуженным трофеем. Но, несмотря на оглушительную победу, Россия действовала дипломатично и мягко, с учётом всех интересов. Мы отказались от многих своих справедливых притязаний, сохранив за собой по результатам изнурительной войны лишь выход к морю, Карельский перешеек и земли Приладжья.

— Извини, — Олег повернулся к сыну и принялся разъяснять. — Россия и Швеция воевали веками. Шведы наступали, дошли даже до этих мест. И дальше воевать желали. Но и царь Петр Первый отступать не хотел. Он заложил пушечные и литейные заводы в Кончезере, у нас на Лососинке. Обучил и вооружил армию, построил флот. И дал бой шведскому императору Карлу, очень упрямому и храброму полководцу. Помнишь у Пушкина в «Полтаве»: «Но близок, близок миг победы. Ура! мы ломим; гнутся шведы». Русские победили, и земли эти вернулись России.

— О славный час! о славный вид! — продолжил я. — Шведы жаждали реванша, поэтому русско-шведские войны продолжались ещё долгие годы. Закончилась жажда реванша закономерно: территорию Финляндии Швеция таки потеряла безвозвратно. И снова победитель поступил великодушно. Вскоре после присоединения к Российской империи в 1809 году финны получили широкую автономию в границах Великого княжества Финляндского. Фактически государственность. Получили от России, не от Швеции! Это раз. Помогли во всём, с нуля отстроив все государственные институты, но это не в счёт, конечно... И вот теперь вишенка на торт: вскоре Александр Второй включает в состав Великого княжества Выборгскую губернию, то есть часть западной Карелии и Приладжья, возвращённых России по результатам Северной войны. Дарует, так сказать. Это два. Остальное не так уж трудно и додумать.

— Погоди, погоди... — Олег поразился внезапной догадке. — Так это же современная история с Крымом, историческая параллель... Спустя время Финляндия объявит о своей независимости. Россию лихорадит, гражданская война, России не до того, Ленин махнёт рукой: всемирная революция на носу, не до карел с их вотчиной. Мы остаёмся с носом. Перед Зимней войной просим вернуть по-хорошему, с обменом, а финны говорят: как же, это наша исконная территория...

— Неблагодарность же в том, что, несмотря на такие подарки и наше искреннее стремление к дружбе, финны всё это время жаждали нового жизненного пространства. Почему-то на востоке, а не на западе. Минимум всю Карелию, а там как пойдёт. Ну зачем, скажи? Так было в годы Первой мировой войны, когда они воевали на стороне немцев. Так было в смутные годы революции. Так было накануне Зимней войны, когда Советский Союз принял тяжёлое, но, думаю, необходимое, с учётом всех обстоятельств, решение отодвинуть границы от Ленинграда силой. То же происходит и сегодня, когда, презрев свой же заявленный нейтралитет, финны вступают в НАТО и сразу занимают активную антироссийскую позицию. Западные страны, и Финляндия в их числе, поставили очень многое на усмирение (по Оруэллу) русского медведя, пока он не окреп окончательно. Ну что ж, в русскую рулетку надо играть до последнего...

Наш исторический диспут, перешедший уже к современным реалиям, неожиданно прервал возглас Ростика. На взгорке, по правую руку, на скалистом выступе высился бетонный штык. В основании его был установлен настоящий корабельный якорь. Он-то и привлёк внимание скупающего мальчишки.

Мы поднялись к обелиску и стали читать: «Благодарные сортавальцы — героям-воинам». На другой мраморной плите: «Воинам 168-й стрелковой дивизии, сдерживавшим на этом рубеже натиск врага в августе 1941 года. Здесь подразделения прикрытия стояли насмерть, обеспечив передислокацию частей и боевой техники на Ленинградский фронт кораблями Краснознамённой Ладужской флотилии».

В лесу, неподалёку, обвалившиеся и поросшие мхом, угадывались окопы. Ростик внимательно слушал, что значит «стояли насмерть»...

По пути к машине Олег задумчиво проговорил:

— Страны, как и люди, лучше помнят плохое, нежели хорошее. От добра добра не ищут. Мне кажется, здесь какой-то психологический феномен. Синдром жертвы, может быть. Есть что-то лунатическое в том, чтобы раз за разом идти и наступать на русские грабли и напарываться на русские вилы. Шведы, поляки, французы, немцы, финны проходили этой дорожкой не раз. Но заметь, сейчас они поумнели, что ли: перед собой толкают другого.

* * *

На очередном подъёме, за поворотом, лес распахнулся, оглушая открывшимся простором. Поросшее мерцающим иван-чаем поле спускалось к заливу. На синюю зеркальную гладь обрушилось бесконечное, чуть подрумяненное небо. Вслед за закатным солнцем с воздушной перспективы сходила лёгкая дымчатая вуаль, даруя взгляду удивительную прозрачность. Мы снова остановились и заговорили о том, как неотразимо красив и привлекателен карельский наш край! Что соперничество за него длилось веками. И всё это время ярость и страсть, и желание мести оказывались сильнее любви. Банальная история: всё, что начинается с лёгкого укола ревности, не может не привести к трагедии. В карельских рунах один из главных сюжетов — сюжет о создании, похищении и уничтожении волшебной мельницы Сампо, дарующей своему хозяину благополучие и изобилие, и, конечно же, власть. Земля и человек на земле, и звёздный купол над головой — это и есть мельница Сампо. У каждого народа она своя. А украсть и увезти её невозможно — в борьбе Сампо разбивается.

— Земля наша велика и обильна... черепками рухнувших надежд и разбитых судеб, — печально подытожил Олег, погружённый то ли в глубокие думы, то ли в волшебную иллюзию поэтичности мира.

Иллюзия разрушилась, как только мы тронулись с места, и я перешёл к суровой и презренной прозе.

— Есть люди глубоко верующие, но притом совершенно бессовестные, — предваряя продолжение семейной истории, начал я. — Живут они счастливо — и всё с них как с гуся вода. Прадед мой в бога не веровал, а жил как совесть велит, — по заповедям. Носил он в себе огромную вину и перед смертью не священнику, а детям покался: «Мальчик этот, финн — на моей совести, мой грех, моя вина». И то, что однажды произошло, называл он возмездием и карой.

* * *

Лет двадцать прошло со времени, как они обосновались на новом месте. С утра было душно, палило солнце, к полудню надвинулись, сгущаясь и темнея, грозовые тучи — набирала силу первая весенняя гроза. Прабабушка моя, Валентина, готовила обед и приглядывала за внуками. Девочка истошно залилась в своей колыбельке, в детской. Пришлось бабушке взять её на руки и, покачивая, вернуться на кухню. Недовольно бурчащий Василий, присмирив пчёл дымарём и покряхтивая, в широкополой соломенной шляпе со спущенной вокруг головы и шеи тюлевой сеткой обходил ульи на пасеке.

В наэлектризованном воздухе прокатилась душистая волна резко пахнувшего разнотравья, одновременно смолкли птицы и насекомые. Внезапную тишину с гулким треском разорвали первые раскаты грома. Порывистый шквальный ветер упруго ударился в окна, звонко распахнув остеклённые створки. Гроза проходила чуть стороной; плотные тучи рвались, как туго набитые овсом холстяные мешки, и ливневыми столбами рассыпались где-то над Ладогой. По черепице ударили редкие тяжёлые капли. И тут бусый сумрак со стороны леса прочертила трассирующей пулей яркая точка. Вмиг увеличившись до размеров футбольного мяча, ослепительно искрящая капля зависла над полем шагах в двадцати от покосившегося палисадника. Мальчик и бабушка с девочкой на руках заворожённо глядели в окно на чудо. Огненный сгусток мгновенной воронкой втянуло в электрический шкаф, вспыхнула проводка. Затем молния пузырьком выдулась из громко лопнувшей лампочки в кухне,

оторвалась и, страшно шикая и разбрызгивая искры, влетела в комнату детей. Раздался оглушительный взрыв...

Василий с трудом выломал перекосившуюся входную дверь. Всё вокруг, что виднелось за пеленою дыма и пыли, было разбито, исковеркано, в потолке и крыше зияли прорехи, жгуче пахло гарью. Он будто смотрел сильно замедленный немой фильм. Клубилась пыль. Шевелились язычки пламени. Потолочная балка расплющила люльку... Он услышал крик перепуганных детей и наконец, очнувшись, вытолкнул на двор растерявшихся домочадцев и бросился сбивать пламя.

Быстролетящую шаровую молнию заметили в нескольких местах. Старуха Папылева, никакая не сплетница, долго потом поминала, что молния влетела в её дом и в печную трубу, слава богу, вылетела. А так болтали много чего, ахов и охов на годы хватило. Шептались, что на выпасе убило председателеву корову, только мокрое место осталось. Ни копыт, ни рогов...

К вечеру вся семья собралась: помимо ущерба от взрыва и огня внутри дома, выбитых окон и дверей, проломленной крыши, оказалось, что весь сруб съехал с фундамента и опасно покосился.

Потеря крова и насиженного места оказалась половиной беды. Прадед замкнулся в себе, нёс околесицу и до осени жил в полуразрушенном доме совершенно один. Маленького внука его так потрясло, что потом ещё долго от громкого слова или от вспыхнувшей спички он в страхе забивался куда подальше. У мальчика к тому же выпали волосы. Возили его, конечно, по врачам. Помогли ли их противоречивые советы или время и родительская любовь сделали своё дело, но через несколько лет всё наладилось. Приладились, прижились и к новому месту, в Метсямикли.

* * *

Ростик играл в шаровую молнию. Сам он, видимо, её пилотировал. То одной, то другой рукой он пикировал с неба на землю, стреляя со всех орудий в коварных врагов. Вполголоса, чтобы не мешать взрослым, но изобретательно, каждое

своё действие он сопровождал самой фантастической озвучкой. Пора было доставать термос с чаем и бутерброды. Мы устроились на тёплом камне у самой воды. Было тихо. Только рыба мелочь осторожно булькала и плескалась, будоража эфир короткими круговыми волнами.

— Неясные рассветы, неяркий окоем, да были ли поэты в Приладожье моём? — вспомнилось мне отчего-то, расслабленный вечер настраивал на романтический лад. — Вот так я пустил свои корни на этой земле. Или корни пустили меня на свет новым побегом, новым свидетелем происходящего над землёй... Да, ещё одна деталь: бабушка моя Катя тоже из переселенцев, и тоже с Вологодчины. А вот познакомились они с дедом Женей уже здесь, на новом месте. Родили и вырастили пятерых детей. Мама моя была старшей и раньше остальных покинула родное гнездо.

* * *

Десятилетку она оканчивала вдали от дома в городе Суоярви, жила на попечении родной тетушки и дяди, бывшего тогда первым секретарём горкома. Так отец её решил, что негоже молодой девчонке в лахденпохском интернате без надзора родительского взрослеть. А о том, чтобы в совхозе остаться работать, не то что речи, но и мысли ни у кого не было. Вся деревенская молодёжь, повально, бредила городом, не видя иных перспектив. Правда, не многим хватало воли и удачи выучиться, получить специальность, чтобы крепко устроиться в городе на работу, не вылетев после первой полочки. И — самое было сложное — найти какое-никакое жильё.

Оказалось тогда, что не только наш прежний дом с фундамента съехал, а вся только-только обустроенная жизнь шла набекрень. Всё вокруг, что ещё оставалось от хозяйственных финнов и что было построено в первые послевоенные годы, постепенно приходило в упадок. Холмистая, заболоченная местность не позволяла осваивать большие единые пространства, капризная погода и неблагоприятный климат губили любые планы. Конечно, продолжали сеять-собирать, и зарплату выплачивали как ни в чём

не бывало, и в клуб завозили кинофильмы, и в автолавке выставляли дефицит. Но премии перестали выплачиваться, заглохло новое строительство, и на ремонт уже не хватало денег, урожаи и удои, вопреки всем стараниям, падали, молодые учителя в школу не приезжали, а фельдшерский пункт, несмотря на обещания о скором начале стройки, так и оставался на дому у медички. Жили, кормились всё больше от собственных наделов: огородика да поля картофельного, как в старину.

* * *

С высоты своего руководящего положения любому функционеру народ кажется тёмной, неразумной массой, чьи нужды, конечно, второстепенны перед интересами страны, или же, что греха таить, перед собственным его заслуженным благополучием. Русский же маленький человек хоть и не глуп, не тёмный, а живет он по принципу: я вас не трогаю, и вы меня не трогайте; и видит он всё, и всё подмечает, а обиды свои и притеснения, и несправедливость оправдывает общим несовершенством мира и каждого человека в нём. Только и плевались мужики да бабы на завсегдашнюю российскую глупость и несправедливость, когда покосы отводили им с каждым годом все дальше, на неудобьях: взгорках каменистых и в низинках болотных. При этом совхоз, всё лучшее жадно отобравший, сена в полях гноил ой немало, не считывая собственных сил и возможностей. «Не жди дождя и грома, а жди агронома», — чертыхались деревенские. Агроном появлялся редко и, мелькнув в бригаде, быстро и деловито уносился на «козлике». Председатель важно и недостижимо, как небожитель, однажды тоже спустился на землю, пропахший коньяком и одеколоном, переполненный тем самым ощущением безгрешности, непорочности и самой почти святости, которым одурманивает человека только власть, даже очень небольшая: невелик большак, да булава при нем.

Канторские вообще сторонились мужика, кичась мнимой принадлежностью иному — высококоразвитому миру, успехи и достижения которого ежедневно транслировались в телевизионных передачах. «Жить в деревне, не видать веселья»,

— повторялось из уст в уста, отравляя юное комсомольское сознание. Ёрзали сознательные товарищи, да не было пока установки. Тут-то и дотумкали молодые люди, как смешно и неловко в век телевидения и научно-технического прогресса пользоваться тёмной, холодной, дурно пахнущей дощатой уборной, в которой о благах цивилизации напоминали только мятые обрывки газет, наколотые на ржавый гвоздь. И как-то так незаметно первоначальный трудовой энтузиазм перевернулся таким бездейственным унынием и пессимизмом, что и обычное пьянство горчило вдвое.

А передовой индустриальной стране нужны были рабочие руки, и где ещё черпать резервы, как не в деревне. Да и не страшен был уже крестьянину город, тем более соседний какой городок, где уже прижились знакомые или даже родня. Не Москва ведь, не Ленинград, в самом деле! Помнила мама, как впервые с родителями попала в Ленинград: ёкнуло сердечко, страшно всё, шумно и незнакомо, и чудесно: дома огромные и дворцы, и асфальт, и машины проносятся. Улицы, светофоры, улицы — враз заблудишься, не то что в лесу. Будто в загробном мире очутилась, о котором иногда шептала, когда деда не было рядом, бабушки, раем ли назовешь его или адом?

Город Суоярви, где оканчивала мама школу, и Сортавала, где позже обосновалась молодая семья, в те годы еще сохраняли впечатление финского уюта и ухоженности, близости к природе и человеку. Со временем, правда, тонкий оригинальный букет романтизма все более выветривался, обнажая оскроминную провинциальность.

В детстве я, конечно, об этом не думал и ничего такого не замечал. У детских воспоминаний свой сказочно-фантастичный экстерьер, своя волшебная архитектура. Сначала на мир ты смотришь ещё как бы снизу, потом ты растёшь в высоту и вширь, становишься важным и смотришь на всё вокруг уже как бы сверху. И не узнаёшь: в этом ли доме ты жил, по этой ли дороге ходил в школу, в этом ли дворе отдавал портфель однокласснице?

* * *

Проездом по вечернему городу Сортавала как раз завершалось моё повествование:

— Родился, учился, женился. Вот часть моей биографии, связанная с этим замечательным городом, — иронично заметил я. Мои слова иногда противоречили настоящему чувству.

— Краткость биографии очень практична, берёшь её и переносишь на камень, получается, прости господи, эпитафия, — в тон мне отозвался Олег. И давая понять, что он не попался на провокацию, добавил. — А лучше перенеси свой рассказ на бумагу.

Далее мы ехали в тишине, погружённые в свои размышления.

* * *

Спустя несколько лет, совсем недавно, я снова побывал в Метсямикли. Старый финский дом снесли, так что и намёка не осталось. Вдоль реки, у шумила, ползал гусеничный экскаватор, сдирая почву до камня. Лес и кустарник вокруг водопада свели, соскребли цветную кожицу мхов и лишайников с окружающих скал, огородили забором это голое безжизненное пространство и поставили будку. В будке сидел человек и взимал плату.

Мой водопад с лицом и статью мифического божества превратился в заформалиненного уродца, голым выставленного на показ. На ме-

сте старого сада, там, где на спуске к водопаду стояли дедовские ульи, теперь зияют гладкие «бараньи лбы». Воздетых к небу лап нордических истуканов больше нет: их сбили. По безруким опорам бетонной трубы теперь прокинуты деревянные мостки с ограждением.

Мельницы, как сооружения, не существует уже много лет, но вот не осколки её даже, а лишь рассказы о них приносят доход. Да, основательно финны строились, добротню, на века! Часто для русского вечность — нечто противоположное вечности: бренное, тщетное, суета сует. Для приземлённого же финна вечность соразмерна веку человеческому, вещному: пока имя его не забудется.

По настилу прогуливались зевающие туристы.

— Молодой человек, молодой человек! Вы от какой группы? Позвольте ваш билетик.

Корыто — каменная чаша, углубление в русле реки.

Шумило — водопад и каскад порогов.

Ламба — небольшое лесное озеро.

Рюсса — уничижительное финское прозвище русских.

Дмитрий Анатольевич ГОРОХ

родился в 1975 году в г. Сортавала Карельской АССР. Окончил Петрозаводский государственный университет. По профессии инженер-строитель. Живет и работает в Петрозаводске.

Автор книги стихов «Возвращение к морю», книги стихов и статей «Пыльца на ладони». Подборки стихов выходили в коллективных поэтических сборниках Петрозаводска.

Неоднократно печатался в журнале «Север». Статьи публиковались в вепском альманахе «Verez Tullei»

(«Свежий ветер») — на вепском языке.

